

ВСЕМИРНАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭЗИИ

НИКОЛАЙ
ЗАБОЛОЦКИЙ



Николай Алексеевич Заболоцкий

Стихотворения

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=419402
Николай Заболоцкий. Стихотворения: Эксмо; Москва; 2005
ISBN 5-699-10138-1*

Аннотация

Красота и трагизм природы, человек, его отношения с природой, его душа и творческий труд, любовь, социальные мотивы – все это мы находим в стихах интереснейшего поэта прошедшего века Н.А.Заболоцкого (1903–1958). Его поэзия продолжает великую традицию русской философской лирики и занимает достойное место в сокровищнице классической литературы.

В этой книге представлен заключительный свод произведений Заболоцкого, составленный им незадолго до смерти и включающий смелые, гротескные стихотворения 20-х годов и классически ясные произведения более позднего периода.

Содержание

Путь поэта	5
Столбцы и поэмы	12
Городские столбцы	12
Белая ночь	12
Вечерний бар	13
Футбол	14
Офорт	16
Болезнь	16
Игра в снежки	17
Часовой	18
Новый быт	19
Движение	20
На рынке	20
Ивановы	22
Свадьба	23
Фокстрот	25
Пекарня	26
Рыбная лавка	27
Обводный канал	28
Бродячие музыканты	29
На лестницах	31
Купальщики	32
Незрелость	33
Народный Дом	34
Самовар	36
На даче	37
Начало осени	38
Цирк	38
Смешанные столбцы	42
Лицо коня	42
В жилищах наших	43
Прогулка	44
Змеи	45
Искушение	45
Меркнут знаки Зодиака	47
Искусство	49
Вопросы к морю	50
Время	51
1	51
2	51
3	51
4	52
5	52
6	52
7	53
8	53

9	53
Испытание воли	54
Поэма дождя	56
Отдых	58
Птицы	58
Человек в воде	59
Звезды, розы и квадраты	60
Царица мух	61
Предостережение	62
Подводный город	62
Школа Жуков	63
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Николай Заболоцкий

Стихотворения

Путь поэта

Николай Алексеевич Заболоцкий родился в 1903 году в Казани, где его отец заведовал земской сельскохозяйственной фермой. Когда мальчику исполнилось семь лет, семья переехала в село Сернур (ныне это районный центр Марийской республики) и уже в 1917 году – в город Уржум Вятской губернии. Отец-агроном надеялся сделать из старшего сына своего преемника и не раз брал его в служебные поездки по окрестным полям и деревням. С ранних лет поэт полюбил природу, узнал, как живут и трудятся крестьяне, понял, в чем смысл научного преобразования сельского хозяйства. Впечатления детства дали богатый материал для будущих размышлений Заболоцкого над взаимоотношениями человека и природы. «Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах, – писал он в автобиографическом очерке «Ранние годы», – но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях». Но не поездки отцом, не химические опыты в чулане родительского дома и даже не острые впечатления от лесов, полей и речек чудесного Вятского края решили судьбу Заболоцкого. Семилетним ребенком он выбрал вою профессию около отцовского книжного шкафа, где были собраны произведения русской и мировой классики, комплекты журнала «Нива». Потом он вспоминал, что с семилетнего возраста начал писать стихи, а к двенадцати годам уже порядочно знал русскую литературу.

В 1920 году, окончив Уржумское реальное училище, Заболоцкий покинул родительский дом и отправился сначала в Москву, а на следующий год – в Петроград, где поступил на отделение языка и литературы Педагогического института имени А.И. Герцена. Будучи студентом, он настойчиво искал свой путь в поэзии, но долгое время собственного голоса не находил. К опыту старших современников он относился настороженно. После недолгого увлечения отверг в качестве непосредственных учителей И. Северянина, К. Бальмонта, С. Есенина, А. Ахматову, В. Маяковского. В юности его особенно интересовали символисты. Его привлекало их активное, личностное осмысление внешних проявлений жизни, но отталкивало стремление превратить объективное бытие лишь в символ, за которым скрываются собственные творческие опыты и фантазии. Из старых поэтов на всю жизнь полюбил Г. Державина, А. Пушкина, Ф. Тютчева, Е. Баратынского, Гете, с большим увлечением изучал поэзию О. Мандельштама и особенно В. Хлебникова. В круг своих интересов он включил и важнейшие проблемы современности. В одном из писем конца 1921 года писал: «Родина, мораль, религия – современность – революция – точно тяжелая громада, висят над душой эти гнетущие вопросы». Заболоцкий-студент порой с отчаянием думал о своем неустроенном душевном хозяйстве, о своем «сердце-пустыре» (так он назвал свое стихотворение той поры), полном хаоса впечатлений и неупорядоченных чувств. В основу своей жизненной программы он возвел принципы самодисциплины и самосовершенствования, которым стремился следовать всегда. В автобиографии он писал: «В 1925 году я окончил институт. За моей душой была объемистая тетрадь плохих стихов, мое имущество легко укладывалось в маленькую корзинку».

Два обстоятельства способствовали утверждению творческой позиции и своеобразной поэтической манеры Заболоцкого – его участие в авангардистском литературном содружестве, называемом объединением реального искусства, сокращенно Обериу, и увлечение живописью П. Филонова, М. Шагала, К. Малевича, Питера Брейгеля. С новыми друзьями – поэтами Д. Хармсом, А. Введенским и другими обериутами Заболоцкого сблизил стрем-

ление вырваться за рамки старых традиционных школ, увлечение стихами Хлебникова и настойчивые поиски новых приемов в поэзии. Обериуты пытались взглянуть на мир «голым глазом» с тем, чтобы увидеть его очищенным от привычных представлений и штампов. Для выражения своих наблюдений они широко применяли алогичную метафору, парадокс, неожиданные столкновения словесных смыслов. Однако, усваивая завоевания новой, авангардистской поэзии, Заболоцкий всегда придавал большое значение смысловой нагрузке стиха, что в конце концов привело к его отдалению от поэзии обериутов и к прояснению стиля.

В 20-х же годах выработалась и другая важная особенность поэтической манеры Заболоцкого – умение видеть мир глазами художника-живописца и мыслить пространственными образами. Такая способность позволила ему использовать опыт не только поэзии, но и живописи, особенно любимого им Павла Филонова, позднее – Питера Брейгеля еще позднее – Рокотова и Боттичелли. Сам поэт признавал, что его образная система тяготеет к творчеству определенного круга художников. Уже в конце жизни в подготовленную им книжку своих ранних стихов он вклеил и вложил несколько репродукций картин Анри Руссо, тем самым признав близость своих ранних произведений к живописной манере и этого художника.

В 1926 году период ученичества, поисков, становления в поэзии как-то сразу перешел в стадию зрелости, и поэт стал работать как мастер, используя и совершенствуя найденный метод. Наиболее удачными из написанных тогда стихотворений были «Белая ночь», «Красная Бавария» («Вечерний бар»), «Лицо коня» и «Деревья» («В жилищах наших»). Первые два посвящены городской теме и открывают собой ряд произведений блестящего гротеска, преобладавшего в творчестве Заболоцкого 1926 – 1928 годов и принесшего ему известность среди любителей поэзии. Другие два стихотворения – «Лицо коня» и «В жилищах наших» – ознаменовали собой появление натурфилософского направления, которое, начиная с 1929 года станет определять тематику Заболоцкого. Первые строчки второго из этих стихотворений как будто предсказывают и определяют грядущую метаморфозу:

В жилищах наших
мы тут живем умно и некрасиво.
Справляя жизнь, рождаясь от людей,
мы забываем о деревьях.

Приехав в Петроград из далекой провинции, Заболоцкий увидел большой город со всеми его контрастами, всем неприглядным и порочным, усугубившимся трудностями послереволюционного времени. Быт обывателей города 20-х годов, пошлость и бездуховность мещанской стихии города казался поэту особенно отталкивающими. Ему казалось, что пренебрежение естественным существованием человека в единстве и согласии с природой обедняет городских жителей и приводит их к губительному подчинению вещам и быту. И он пишет об этом быте, сознательно гиперболизируя его отрицательные черты. Таковы «Красная Бавария», «Белая ночь», «Новый Быт», «Ивановы», «Свадьба», «Народный дом». Но чуждый и зловещий город одновременно притягивал поэта особой привлекательностью и какой-то филоновской живописностью. Он признавался: «Знаю, что запутываюсь в этом городе, хотя дерусь против него». В результате в его городских стихах звучат не только сатирические нотки, но и мотивы раблезианства, карнавальная пляска, цирковой феерии.

Первая книга Заболоцкого «Столбцы» (1929 г., 22 стихотворения) выделялась своей оригинальностью даже на фоне разнообразия поэтических направлений в те годы и имела шумный успех. В печати появились отдельные одобрительные отзывы. Автора заметили и поддержали виднейшие литераторы: В.А. Гофман, Ю.Н. Тынянов, Н.Л. Степанов, В.А. Каверин, С.Я. Маршак, Н.С. Тихонов, Б.М. Эйхенбаум... Однако время появления книги

было совсем не подходящим для ее объективной оценки. В условиях, когда был выдвинут лозунг о неизбежном обострении классовой борьбы при наступлении социализма, рапповские критики стали искать классовых врагов в литературе и, в частности, дружно ополчились на Заболоцкого. Его дальнейшая творческая судьба осложнилась превратным, прямо-таки враждебно-клеветническим толкованием его произведений.

Но еще до этих яростных критических ударов поэт стал задумываться над путями своего дальнейшего творческого движения. Он понимал, что разработанный им блестящий, гротескный метод не универсален. Он годился для стилизованного, живописного изображения города, но не подходил для выражения откровенных душевных движений и мыслей о величии и трагизме природы. Вместе с тем Заболоцкий отнюдь не отказывался от стихов и опыта, приобретенных в обериутский период. Выступая на дискуссии о формализме (1936 г.), он сказал: «Столбцы научили меня присматриваться к внешнему миру, пробудили во мне интерес к вещам, развили во мне способность пластически изображать явления».

В 1929 году в стихотворении «Обед» он писал:

...Когда б видали мы
не эти площади, не эти стены,
а недра тепловатые земель,
согретые весеннею истомой;
когда б мы видели в сиянии лучей
блаженное младенчество растений, —
мы, верно б, опустились на колени
перед кипящею кастрюлькой овощей.

Поэт так и поступил: он отвел свой взор от площадей и стен города и преклонил колени перед растениями и животными, связанными с человеком родственными узами и ждущими избавления от векового взаимного уничтожения и страданий.

В 1929 – 1930 годах была написана поэма «Торжество Земледелия», посвященная взаимоотношениям человека и природы. С самого начала работы был намечен ее стержень: от хаоса – к научной упорядоченности мироздания, от эгоизма – к мудрости коллективного преобразования земледелия и всей природы, от животного существования предков – к победе разума. Поэту казалось, что все живое, пронизанное зачаточным грубым сознанием, ждет от человеческого разума прекращения бездумной эксплуатации растений и животных. Он хорошо помнил слова Хлебникова: «Я вижу конские свободы и равноправие коров».

В круг интересов Заболоцкого все более входили философские проблемы естествознания. Он читал труды Платона, Григория Сковороды, Энгельса, Вернадского... В начале 1932 года познакомился с работами Циолковского, которые произвели на него неизгладимое впечатление. В письме к ученому и великому мечтателю писал: «...Ваши мысли о будущем Земли, человечества, животных и растений глубоко волнуют меня, и они очень близки мне. В моих ненапечатанных поэмах и стихах я, как мог, разрешал их».

В начале 30-х годов были написаны поэмы «Безумный волк», «Деревья», «Птицы», несохранившаяся поэма «Облака», стихотворения «Школа Жуков», «Венчание плодами», «Людейников» – произведения, развивающие натурфилософскую концепцию, которая явно или косвенно служила основой и для более поздних стихотворений Заболоцкого о природе.

Публикация «Торжества Земледелия» в 1933 году вызвала новую волну травли поэта. Совсем недавно войдя в литературу, он уже оказался с клеймом поборника формализма и апологета чуждой идеологии. Составленная им новая, готовая к печати книга стихов (1933 г.) не смогла увидеть свет. Угрожающие политические обвинения в критических статьях и крушение надежд на сборник стихотворений все более убеждали поэта, что ему не дадут

утвердиться в поэзии со своим собственным, оригинальным направлением. Эти обстоятельства породили у него разочарование и творческий спад во второй половине 1933-го, 1934, 1935 годах. Вот тут и пригодился жизненный принцип поэта: «Надо работать и бороться за самих себя. Сколько неудач еще впереди, сколько разочарований, сомнений! Но если в такие минуты человек поколеблется – его песня спета. Вера и упорство. Труд и честность...» И Николай Алексеевич продолжал трудиться. Средства к существованию давала начатая еще в 1927 году работа в детской литературе – в 30-х годах он сотрудничал в журналах «Еж» и «Чиж», писал стихи и прозу для детей. Наиболее известны его перевод-обработка для юношества поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (в 50-х годах был сделан полный перевод поэмы), а также переложение книги Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» и романа Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель».

В январе 1930 года Николай Алексеевич женился на окончившей тот же педагогический институт, что и он, Кате Клыковой. В 1932 году у них родился сын Никита, в 1937 – дочь Наташа. Постепенно положение Заболоцкого в литературных кругах Ленинграда укреплялось. С женой и детьми он жил в «писательской надстройке» на Канале Грибоедова, активно участвовал в общественной жизни писателей города. Такие стихотворения, как «Прощание», «Север», «Горийская симфония», «Седов», получили одобрительные отзывы в печати, в 1937 году вышла его книжка, включающая семнадцать стихотворений («Вторая книга»). На рабочем столе Заболоцкого лежали начатые поэтическое переложение древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве» и своя поэма «Осада Козельска», стихотворения, переводы с грузинского... Но наступившее благополучие было обманчивым...

19 марта 1938 года Н.А. Заболоцкий был арестован и на шесть с половиной лет оторван от литературы, от семьи, от свободного человеческого существования. В качестве обвинительного материала в его «деле» фигурировали подписанные под пытками ложные показания двух ранее арестованных писателей и клеветническая обзорная рецензия-донос, определяющая творчество Заболоцкого как «активную контрреволюционную борьбу против советского строя». Несмотря на крайне жестокие допросы, он не признал себя виновным, не наклеветал ни на себя, ни на других интересующих следователей людей. До 1944 года он отбывал незаслуженное заключение в исправительно-трудовых лагерях на Дальнем Востоке и в Алтайском крае. С весны и до конца 1945 года, уже освободившись из заключения, он вместе с семьей жил в Караганде. Благодаря хлопотам его друга литературоведа Н. Л. Степанова и заступничеству влиятельных писателей (А. А. Фадеева, Н. С. Тихонова. И. Г. Эренбурга, С. Я. Маршака, П. И. Чагина и др.), в 1946 году Н. А. Заболоцкого восстановили в Союзе писателей, и разрешили жить в столице под негласным наблюдением соответствующих органов. (Документы из «дела» см. в кн.: Никита Заболоцкий. Жизнь Н.А.Заболоцкого. М., 1998; СПб. 2003.)

Начался новый, московский период жизни и творчества опального поэта. Несмотря на все удары судьбы Заболоцкий сумел сохранить душевную прочность и остался верным делу своей жизни – как только появилась возможность, он вернулся к неосуществленным литературным замыслам. Еще в 1945 году в Караганде, работая чертежником в строительном управлении, Николай Алексеевич в свободное от службы время в основном завершил начатый до ареста перевод «Слова о полку Игореве», а в Москве возобновил перевод грузинской поэзии. Переводил он и стихи других народов СССР, а также немецких, итальянских, венгерских и других поэтов. (См.: Н.А. Заболоцкий. Поэтические переводы в 3-х томах. М., 2004 г.).

Период возвращения к поэзии был не только радостным, но и трудным. Счастливые минуты вдохновения сменялись сомнениями, а порой и чувством бессилия выразить то многое, что скопилось в мыслях и искало путь к поэтическому слову. Не случайно в написанных тогда стихотворениях «Слепой» и «Гроза» звучит тема творчества, самовыражения. Но

поэт не хотел замыкаться в собственных переживаниях. Так в стихотворении «Уступи мне, скворец, уголок», невзирая на все свои испытания, он восторженно обратил свою душу «к мирозданию лицом», к мирозданию со всеми его противоречиями, горестями и радостями. Но порой и сдерживал себя, еще не вполне доверяя свободе и возрождению своей творческой жизни. С грустной иронией он писал:

Я и сам бы стараться горазд,
Да шепнула мне бабочка-странница:
«Кто бывает весною горласт,
Тот без голоса к лету останется».

Заболоцкий сохранил свой голос. Стихотворения 1946 года, несомненно, относятся к его шедеврам. В них и последующих стихах четко прослеживается логическое продолжение развития творчества 30-х годов. Особенно это заметно в преемственности его натурфилософских представлений, отраженных в таких произведениях 40-х годов, как «Читайте, деревья, стихи Гезиода», «Я не ищу гармонии в природе», «Завещание», «Сквозь волшебный прибор Левенгука...». Но в новых стихах можно обнаружить и определенное развитие мысли поэта. Ранее Заболоцкий упорно искал смысл взаимопроникновения зла и добра, косности и мудрости, тьмы и разума. Теперь он все более утверждает в мысли, что совокупность законов природы неизбежно направляет ее развитие к торжеству высоких духовно-нравственных принципов. Только оплодотворенный высокой нравственностью разум способен освободить природу от зла и насилия во имя торжества справедливости, взаимной любви, красоты, вдохновенного творчества. В этом направлении развития мироздания проявляется та душа природы, которая так убедительно была изображена в стихотворении «Лесное озеро». Чем старше становился поэт, тем более необходимым ему казалось сотрудничество разума и души. Недаром он писал жене из Алтайского края: «Живая человеческая душа теперь осталась единственно ценной». Когда свое программное стихотворение он начинал словами: «Я не ищу гармонии в природе», он одновременно утверждал ее страдающую душу, стремящуюся к этой гармонии:

Когда огромный мир противоречий
Насытится бесплодной игрой, —
Как бы прообраз боли человеческой
Из бездны вод встает передо мной.

Общая боль человека и природы может излечиться созидательным творчеством. В «Творцах дорог» и других подобных стихотворениях о труде строителей Заболоцкий продолжает разговор о человеческих свершениях, начатый еще до 1938 года («Венчание плодами», «Север», «Седов»). Дела современников и свой опыт работы на восточных стройках он пытался соизмерить с перспективой создания стройной живой архитектуры природы.

В 50-х годах тема материальных метаморфоз в природе стала уходить в глубь стиха, становясь как бы его невидимым фундаментом и уступая место размышлениям над психологическими и нравственными связями человека и природы, над внутренним миром человека с его собственными чувствами и проблемами.

В стихотворениях московского периода появились ранее несвойственные Заболоцкому душевная открытость, иногда автобиографичность («Слепой», «В этой роще березовой», цикл «Последняя любовь»). Обострившееся внимание к живой человеческой душе привело его к психологически насыщенным жанрово-сюжетным зарисовкам («Жена», «Неудачник», «В кино», «Некрасивая девочка», «Старая актриса»), к наблюдениям над тем, как душев-

ный склад и судьба отражаются в человеческой внешности («О красоте человеческих лиц», «Портрет»). В лицах людей он находит очарование картин Рокотова и Боттичелли. Для поэта гораздо большее значение стали иметь красота природы и ее воздействие на внутренний мир человека. Целый ряд замыслов и работ Заболоцкого был связан с его неизменным интересом к истории и эпической поэзии («Рубрук в Монголии» и др.). Постоянно совершенствовалась его поэтика; формулой его творчества стала провозглашенная им триада: Мысль – Образ – Музыка.

Не все было просто в московской жизни Николая Алексеевича. Творческий подъем, проявившийся в первые годы после возвращения, сменился спадом и почти полным прекращением творческой активности на художественные переводы в 1949 – 1952 годах. Время было тревожным. Опасаясь, что его идеи снова будут использованы против него, Заболоцкий зачастую сдерживал себя и не позволял себе перенести на бумагу все то, что созревало в сознании и просилось в стихотворение. Положение изменилось только после XX съезда КПСС, осудившего извращения, связанные с культом личности Сталина. В 1956 году Заболоцкий написал «Историю моего заключения», отразившую наиболее тяжелый период его жизни.

На новые веяния в жизни страны он откликнулся стихотворениями «Где-то в поле возле Магадана», «Противостояние Марса», «Казбек». Дышать стало легче. Достаточно сказать, что за последние три года жизни (1956 – 1958) Заболоцкий создал около половины всех произведений московского периода. Некоторые из них появились в печати. В 1957 году вышел четвертый, наиболее полный его прижизненный сборник (69 стихотворений и избранные переводы), который, однако, включал далеко не все, что хотел бы видеть в своей книге поэт.

С молодых лет он очень взыскательно относился к своим произведениям и их подбору, считая, что нужно писать не отдельные стихотворения, а целую книгу. На протяжении жизни несколько раз составлял такие сборники, свои идеальные своды, тщательно обдумывал их состав и композицию, со временем пополнял их новыми стихотворениями. Прежде написанные – редактировал и в ряде случаев заменял другими вариантами. За несколько дней до смерти, в октябре 1958 года, Николай Алексеевич написал литературное завещание, в котором точно указал, что должно войти в его итоговое собрание, в его Заключительный свод. В одном томе объединил он свои смелые, гротескные стихотворения 20-х годов и классически ясные, гармоничные произведения более позднего периода, тем самым признав цельность своего пути. Можно даже сказать, что в конце жизни у него появилось стремление активнее включать в свою поэзию элементы стиля «Столбцов». Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать его стихотворный цикл «Рубрук в Монголии» (1958 г.), где для описания событий XIII века современным языком потребовался особый юмор, ирония, даже гротеск в сочетании с классической ясностью и живописной образностью.

В заключение следует отметить, что многие произведения Заболоцкого, написанные в конкретных исторических условиях, в основном под впечатлением от созерцания русской природы, носят тем не менее общий, глобальный характер. Они охватывают время и пространство, значительно превосходящие те, в которых жил поэт. Но читатель вправе извлечь из этой безграничности, из этой «целомудренной бездны стиха» то содержание, которое волнует его в его конкретном бытии.

Н.А. Заболоцкий прожил нелегкую жизнь и умер от повторного инфаркта сердца в возрасте 55-ти лет, так и не увидев то время, когда его поэзия стала широко издаваться, переводиться на иностранные языки, всесторонне и основательно изучаться литературоведами. Но он достиг той цели, к которой стремился на протяжении всей своей творческой жизни, – он создал книгу, достойно продолжившую великую традицию русской философской лирики, и эта книга заняла свое место в сокровищнице классической литературы.

Никита Заболоцкий

Столбцы и поэмы (1926—1933)

Городские столбцы

Белая ночь

Гляди: не бал, не маскарад,
Здесь ночи ходят невпопад,
Здесь, от вина неузнаваем,
Летает хохот попугаем.
Здесь возле каменных излучин
Бегут любовники толпой,
Один горяч, другой измучен,
А третий книзу головой.
Любовь стенает под листьями,
Она меняется местами,
То подойдет, то отойдет...
А музы любят круглый год.

Качалась Невка у перил,
Вдруг барабан заговорил —
Ракеты, выстроившись крúгом,
Вставали в очередь. Потом
Они летели друг за другом,
Вертя бенгальским животом.

Качали кольцами деревья,
Спадали с факелов отрепья
Густого дыма. А на Невке
Не то сирены, не то девки,
Но нет, сирены, — на заре,
Все в синеватом серебре,
Холодноватые, но звали
Прижаться к палевым губам
И неподвижным, как медали.
Обман с мечтами пополам!

Я шел сквозь рощу. Ночь легла
Вдоль по траве, как мел, бела.
Торчком кусты над нею встали
В ножнах из разноцветной стали,
И тосковали соловьи
Верхом на веточке. Казалось,

Они испытывали жалость,
Как неспособные к любви.

А там вдали, где желтый бакен
Подкарауливал шутих,
На корточках привстал Елагин,
Ополоснулся и затих:
Он в этот раз накрыл двоих.

Вертя винтом, бежал моторчик
С музыкой томной по бортам.
К нему навстречу, рожи скорчив,
Несутся лодки тут и там.
Он их толкнет – они бежать.
Бегут, бегут, потом опять
Идут, задорные, навстречу.
Он им кричит: «Я искалечу!»
Они уверены, что нет...

И всюду сумасшедший бред.
Листами сонными колышим,
Он льется в окна, липнет к крышам
Вздымает дыбом волоса...
И ночь, подобно самозванке,
Открыв молочные глаза,
Качается в спиртовой банке
И просится на небеса.

1926

Вечерний бар

В глуши бутылочного рая,
Где пальмы высохли давно,
Под электричеством играя,
В бокале плавало окно.
Оно, как золото, блестело,
Потом садилось, тяжелело,
Над ним пивной дымок вился.
Но это рассказать нельзя.

Звеня серебряной цепочкой,
Спадает с лестницы народ,
Трещит картонною сорочкой,
С бутылкой водит хоровод.
Сирена бледная за стойкой
Гостей попотчует настойкой,
Скосит глаза, уйдет, придет,

Потом с гитарой наотлет
Она поет, поет о милом,
Как милого она любила,
Как, ласков к телу и жесток,
Впивался шелковый шнурок,
Как по стаканам висла виски,
Как, из разбитого виска
Измученную грудь обрызгав,
Он вдруг упал. Была тоска,
И все, о чем она ни пела,
Легло в бокал белее мела.

Мужчины тоже всё кричали,
Они качались по столам,
По потолкам они качали
Бедлам с цветами пополам.
Один рыдает, толстопузик,
Другой кричит: «Я – Иисусик,
Молитесь мне, я на кресте,
В ладонях гвозди и везде!»
К нему сирена подходила,
И вот, тарелки оседлав,
Бокалов бешеный конклав
Зажегся, как паникадило.

Глаза упали, точно гири,
Бокал разбили, вышла ночь,
И жирные автомобили,
Схватив под мышки Пикадилли
Легко откатывали прочь.
А за окном в глуши времен
Блистал на мачте лампион.

Там Невский в блеске и тоске,
В ночи переменивший краски,
От сказки был на волоске,
Ветрами вея без опаски.
И как бы яростью объятый,
Через туман, тоску, бензин,
Над башней рвался шар крылатый
И имя «Зингер» возносил.

1926

Футбол

Ликует форвард на бегу.
Теперь ему какое дело!

Недаром согнуто в дугу
Его стремительное тело.
Как плащ, летит его душа,
Ключица стучается звонко
О перехват его плаща.
Танцует в ухе перепонка,
Танцует в горле виноград,
И шар перелетает ряд.

Его хватают наугад,
Его отравой поят,
Но башмаков железный яд
Ему страшнее во сто крат.
Назад!

Свалились в кучу беки,
Опухшие от сквозняка,
Но к ним через моря и реки,
Просторы, площади, снега,
Расправив пышные доспехи
И накрываясь в меридиан,
Несется шар.

В душе у форварда пожар,
Гремят, как сталь, его колена,
Но уж из горла бьет фонтан,
Он падает, кричит: «Измена!»
А шар вертится между стен,
Дымится, пучится, хохочет,

Глазок сожмет: «Спокойной ночи!»
Глазок откроет: «Добрый день!»
И форварда замучить хочет.

Четыре гола пали в ряд,
Над ними трубы не гремят,
Их сосчитал и тряпкой вытер
Меланхолический голкипер
И крикнул ночь. Приходит ночь,
Бренча алмазною заслонкой,
Она вставляет черный ключ
В атмосферическую лунку.
Открылся госпиталь. Увы,
Здесь форвард спит без головы.

Над ним два медные копья
Упрямый шар веревкой вяжут,
С плиты загробная вода
Стекает в ямки вырезные,

И сохнет в горле виноград.
Спи, форвард, задом наперед!

Спи, бедный форвард!
Над землею
Заря упала, глубока,
Танцуют девочки с зарею
У голубого ручейка.
Все так же вянут на покое
В лиловом домике обои,
Стареет мама с каждым днем...
Спи, бедный форвард!
Мы живем.

1926

Офорт

И грянул на весь оглушительный зал:
«Покойник из царского дома бежал!»

Покойник по улицам гордо идет,
Его постояльцы ведут под уздцы,
Он голосом трубным молитву поет
И руки вздымает наверх.
Он в медных очках, перепончатых рамах,
Переполнен до горла подземной водой.
Над ним деревянные птицы со стуком
Смыкают на створках крыла.
А кругом громобой, цилиндров бряцанье
И курчавое небо, а тут —
Городская коробка с расстегнутой дверью
И за стеклышком – розмарин.

1927

Болезнь

Больной, свалившись на кровать,
Руки не может приподнять.
Вспотевший лоб прямоуголен —
Больной двенадцать суток болен.
Во сне он видит чьи-то рыла,
Тупые, плотные, как дуб.
Тут лошадь веки приоткрыла,
Квадратный выставила зуб.
Она грызет пустые склянки,

Склонившись, Библию читает,
Танцует, мочится в лоханки
И голосом жены больного утешает.

«Жена, ты девушкой слыла.
Увы, моя подруга,
Как кожа нежная была
В боках твоих упруга!
Зачем же лошадь стала ты?
Укройся в белые скиты
И, ставя богу свечку,
Грызи свою уздечку!»

Но лошадь бьется, не идет,
Наоборот, она довольна.
Уж вечер. Лампа свет лиет
На уголок застольный.
Восходит поп среди двора,
Он весь ругается и силы напрягает,
Чугунный крест из серебра
Через порог переставляет.
Больному лучше. Поп хохочет,
Закутавшись в святую епанчу
Больного он кропилом мочит,
Потом с тарелки ест сычуг,
Наполненный ячменной кашей,
И лошадь называет он мамашей.

1928

Игра в снежки

В снегу кипит большая драка.
Как легкий бог, летит собака.
Мальчишка бьет врага в живот.
На елке тетерев живет.
Уж ледяные свищут бомбы.
Уж вечер. В зареве снега.

В сугробах роя катакомбы,
Мальчишки лезут на врага.
Один, задрав кривые ноги,
Скатился с горки, а другой
Воткнулся в снег, а двое новых,
Мохнатых, скорченных, багровых,
Сцепились вместе, бьются враз,
Но деревянный ножик спас.

Закат погас. И день остановился.
И великаном подошел шершавый конь.
Мужик огромной тушей своей
Сидел в стропилах крашенных саней,
И в медной трубке огонек дымился.

Бой кончился. Мужик не шевелился.

1928

Часовой

На карауле ночь густеет.
Стоит, как башня, часовой.
В его глазах одервенелых
Четырехгранный вьется штык.
Тяжеловесны и крылаты,
Знамена пышные полка,
Как золотые водопады,
Пред ним свисают с потолка.
Там пролетарий на стене
Гремит, играя при луне,
Там вой кукушки полковой
Угрюмо тонет за стеной.
Тут белый домик вырастает
С квадратной башенкой вверху,
На стенке девочка витает,
Дудит в прозрачную трубу.
Уж к ней сбегаются коровы
С улыбкой бледной на губах...
А часовой стоит впотьмах
В шинели конусообразной,
Над ним звезды пожарик красный
И серп заветный в головах.
Вот в щели каменные плит
Мышиные просунулись лица,
Похожие на треугольники из мела,
С глазами траурными по бокам.
Одна из них садится у окошка
С цветочком музыки в руке.
А день в решетку пальцы тянет,
Но не достать ему знамен.
Он напрягается и видит:
Стоит, как башня, часовой,
И пролетарий на стене
Хранит волшебное становье.
Ему знамена – изголовье,
А штык ружья: война – войне.

И день доволен им вполне.

1927

НОВЫЙ БЫТ

Восходит солнце над Москвой,
Старухи бегают с тоской:
Куда, куда идти теперь?
Уж Новый Быт стучится в дверь!
Младенец, выхолен и крупен,
Сидит в купели, как султан.
Прекрасный поп поет, как бубен,
Паникадиллом осиян.
Прабабка свечку зажигает,
Младенец крепнет и мужает
И вдруг, шагая через стол,
Садится прямо в комсомол.

И время двинулось быстрее,
Стареет папенька-отец,
И за окошками в аллее
Играет сваха в бубенец.
Ступни младенца стали шире,
От стали ширится рука.
Уж он сидит в большой квартире,
Невесту держит за рукав.
Приходит поп, тряся ногами,
В ладошке мощи бережет,
Благословить желает стенки,
Невесте крестик подарить.
«Увы, – сказал ему младенец, —
Уйди, уйди, кудрявый поп,
Я – новой жизни ополченец,
Тебе ж один остался гроб!»
Уж поп тихонько плакать хочет,
Стоит на лестнице, бормочет,
Не зная, чем себе помочь.
Ужель идти из дома прочь?

Но вот знакомые явились,
Завод пропел: «Ура! Ура!»
И Новый Быт, даруя милость,
В тарелке держит осетра.

Варенье, ложечкой носимо,
Шипит и падает в боржом.
Жених, проворен нестерпимо,

К невесте лепится ужом.
И председатель на отвале,
Чете играя похвалу,
Приносит в Выборгском бокале
Вино солдатское, халву,
И, принимая красный спич,
Сидит на столике Ильич.

«Ура! Ура!» – поют заводы,
Картошкой дым под небеса.
И вот супруги, выпив соды,
Сидят и чешут волоса.
И стало все благоприятно.
Явилась ночь, ушла обратно,
И за окошком через миг
Погасла свечка-пятерик.

1927

Движение

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

1927

На рынке

В уборе из цветов и крынок
Открыл ворота старый рынок.

Здесь бабы толсты, словно кадки,
Их шаль невиданной красы,
И огурцы, как великаны,
Прилежно плавают в воде.
Сверкают саблями селедки,
Их глазки маленькие кротки,
Но вот, разрезаны ножом,
Они свиваются ужом.
И мясо, властью топора,
Лежит, как красная дыра,

И колбаса кишкой кровавой
В жаровне плавает корявой,
И вслед за ней кудрявый пес
Несет на воздух постный нос,
И пасть открыта, словно дверь,
И голова, как блюдо,
И ноги точные идут,
Сгибаясь медленно посередине.
Но что это? Он с видом сожаленья
Остановился наугад,
И слезы, точно виноград,
Из глаз по воздуху летят.

Калеки выстроились в ряд.
Один играет на гитаре.
Ноги обрубок, брат утрат,
Его кормилец на базаре.
А на обрубке том костыль,
Как деревянная бутылъ.

Росток руки другой нам кажется,
Он ею хвастается, машет,
Он палец вывихнул, урод,
И визгнул палец, словно крот,
И хрустнул кости перекресток,
И сдвинулось лицо в наперсток.

А третий, закрутив усы,
Глядит воинственным героем.
Над ним в базарные часы
Мясные мухи вьются роем.
Он в банке едет на колесах,
Во рту запрятал крепкий руль,
В могилке где-то руки сохнут,
В какой-то речке ноги спят.
На долю этому герою
Осталось брюхо с головою
Да рот, большой, как рукоять,
Рулем веселым управлять.

Вон бабка с неподвижным оком
Сидит на стуле одиноком,
И книжка в дырочках волшебных
(Для пальцев милая сестра)
Поет чиновников служебных,
И бабка пальцами быстра.

А вокруг – весы, как магелланы,
Отрепья масла, жир любви,

Уроды, словно истуканы,
В густой расчетливой крови,
И визг молитвенной гитары,
И шапки полны, как тиары,
Блестящей медью. Недалек
Тот миг, когда в норе опасной
Он и она – он пьяный, красный
От стужи, пенья и вина,
Безрукий, пухлый, и она —
Слепая ведьма – спляшут мило
Прекрасный танец-козерог,
Да так, что затрещат стропила
И брызнут искры из-под ног!

И лампа взвояет, как сурок.

1927

Ивановы

Стоят чиновные деревья,
Почти влезая в каждый дом.
Давно их кончено кочевье,
Они в решетках, под замком.
Шумит бульваров теснота,
Домами плотно заперта.

Но вот все двери растворились,
Повсюду шепот пробежал:
На службу вышли Ивановы
В своих штанах и башмаках.
Пустые гладкие трамваи
Им подают свои скамейки.
Герои входят, покупают
Билетов хрупкие дощечки,
Сидят и держат их перед собой,
Не увлекаясь быстрой ездой.

А там, где каменные стены,
И рев гудков, и шум колес,
Стоят волшебные сирены
В клубках оранжевых волос.
Иные, дуньками одеты,
Сидеть не могут взаперти.
Прищелкивая в кастаньеты,
Они идут. Куда идти,
Кому нести кровавый ротик,
У чьей постели бросить ботик

И дернуть кнопку на груди?
Неужто некуда идти?

О мир, свинцовый идол мой,
Хлещи широкими волнами
И этих девок упокой
На перекрестке вверх ногами!
Он спит сегодня, грозный мир:
В домах спокойствие и мир.

Ужели там найти мне место,
Где ждет меня моя невеста,
Где стулья выстроились в ряд,
Где горка – словно Арарат —
Имеет вид отменно важный,
Где стол стоит и трехэтажный
В железных латах самовар
Шумит домашним генералом?

О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиною норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку – Иванов!

1928

Свадьба

Сквозь окна хлещет длинный луч,
Могучий дом стоит во мраке.
Огонь раскинулся, горюч,
Сверкая в каменной рубахе.
Из кухни пышет дивным жаром.
Как золотые битюги,
Сегодня зреют там не даром
Ковриги, бабы, пироги.
Там кулебяка из кокетства
Сияет сердцем бытия.
Над нею прокликает детство
Цыпленок, синий от мытья.
Он глазки детские закрыл,
Наморщил разноцветный лобик
И тельце сонное сложил
В фаянсовый столовый гробик.
Над ним не поп ревел обедню,
Махая по ветру крестом,

Ему кукушка не певала
Коварной песенки своей:
Он был закован в звон капусты,
Он был томатами одет,
Над ним, как крестик, опускался
На тонкой ножке сельдерей.
Так он почил в расцвете дней,
Ничтожный карлик средь людей.

Часы гремят. Настала ночь.
В столовой пир горяч и пылок.
Графину винному невмочь
Расправить огненный затылок.
Мясистых баб большая стая
Сидит вокруг, пером блистая,
И лысый венчик горностая
Венчает груди, ожирев
В поту столетних королев.
Они едят густые сласти,
Хрипят в неутоленной страсти
И, распуская животы,
В тарелки жмутся и цветы.
Прямые лысые мужья
Сидят, как выстрел из ружья,
Едва вытягивая шеи
Сквозь мяса жирные траншеи.
И пробиваясь сквозь хрусталь
Многообразно однозвучный,
Как сон земли благополучной,
Парит на крылышках мораль.

О пташка божья, где твой стыд?
И что к твоей прибавит чести
Жених, приделанный к невесте
И позабывший звон копыт?
Его лицо передвижное
Еще хранит следы венца,
Кольцо на пальце золотое
Сверкает с видом удальца,
И поп, свидетель всех ночей,
Раскинув бороду забралом,
Сидит, как башня, перед балом
С большой гитарой на плече.

Так бей, гитара! Шире круг!
Ревут бокалы пудовые.
И вздрогнул поп, завыл и вдруг
Ударил в струны золотые.
И под железный гром гитары

Подняв последний свой бокал,
Несутся бешеные пары
В нагие пропасти зеркал.
И вслед за ними по засадам,
Ополоумев от вытья,
Огромный дом, виляя задом,
Летит в пространство бытия.
А там – молчанья грозный сон,
Седые полчища заводов,
И над становьями народов —
Труда и творчества закон.

1928

Фокстрот

В ботинках кожи голубой,
В носках блистательного франта,
Парит по воздуху герой
В дыму гавайского джаз-банда.
Внизу – бокалов воркотня,
Внизу – ни ночи нет, ни дня,
Внизу – на выступе оркестра,
Как жрец, качается маэстро.
Он бьет рукой по животу,
Он машет палкой в пустоту,
И легких галстуков извилина
На грудь картонную пришпилена.

Ура! Ура! Герой парит —
Гавайский фокус над Невою!
А бал ревет, а бал гремит,
Качая бледною толпою.
А бал гремит, единорог,
И бабы выставили в пляске
У перекрестка гладких ног
Чижа на розовой подвязке.

Смеется чиж – гляди, гляди!
Но бабы дальше ускакали,
И медным лесом впереди
Гудит фокстрот на пьедестале.

И так играя, человек
Родил в последнюю минуту
Прекраснейшего из калек —
Женоподобного Иуду.
Не тронь его и не буди,

Не пригодится он для дела —
С цыплячьим знаком на груди
Росток болезненного тела.
А там, над бедною землей,
Во славу винам и кларнетам
Парит по воздуху герой,
Стреляя в небо пистолетом.

1928

Пекарня

В волшебном царстве калачей,
Где дым струится над пекарней,
Железный крендель, друг ночей,
Светил небесных светозарней.
Внизу под кренделем — содом.
Там тесто, выскочив из квашен,
Встает подобьем белых башен
И рвется в битву напролом.

Вперед! Настало время боя!
Ломая тысячи преград,
Оно ползет, урча и воя,
И не желает лезть назад.
Трещат столы, трясутся стены,
С высоких балок льет вода.
Но вот, подняв фонарь военный,
В чугуна ударил тамада, —
И хлебопеки сквозь туман,
Как будто идола в тиарах,
Летят, играя на цимбалах
Кастрюль неведомый канкан.

Как изукрашенные стяги,
Лопаты ходят тяжело,
И теста ровные корчаги
Плывут в квадратное жерло.
И в этой, красной от натуги,
Пещере всех метаморфоз
Младенец-хлеб приподнял руки
И слово стройно произнес.
И пекарь огненной трубой
Трубил о нем во мрак ночной.

А печь, наследника родив
И стройное поправив чрево,
Стоит стыдливая, как дева

С ночью розой на груди.
И кот, в почетном сидя месте,
Усталой лапкой рыльце крестит,
Зловонным хвостиком вертит,
Потом кувшинчиком сидит.
Сидит, сидит, и улыбнется,
И вдруг исчез. Одно болотце
Осталось в глиняном полу.
И утро выплыло в углу.

1928

Рыбная лавка

И вот, забыв людей коварство,
Вступаем мы в иное царство.

Тут тело розовой севрюги,
Прекраснейшей из всех севрюг,
Висело, вытянувши руки,
Хвостом прицеплено на крюк.
Под ней кета пылала мясом,
Угри, подобные колбасам,
В копченой пышности и лени
Дымились, подогнув колени,
И среди них, как желтый клык,
Сиял на блюде царь-балык.

О самодержец пышный брюха,
Кишечный бог и властелин,
Руководитель тайный духа
И помыслов архитриклин!
Хочу тебя! Отдайся мне!
Дай жрать тебя до самой глотки!
Мой рот трепещет, весь в огне,
Кишки дрожат, как готтентотки.
Желудок, в страсти напряжен,
Голодный сок струями точит,
То вытянется, как дракон,
То вновь сожмется что есть мочи,
Слюна, клубясь, во рту бормочет,
И сжаты челюсти вдвойне...
Хочу тебя! Отдайся мне!

Повсюду гром консервных банок,
Ревут сиги, вскочив в ушат.
Ножи, торчащие из ранок,
Качаются и дребезжат.

Горит садок подводным светом,
Где за стеклянною стеной
Плывут лещи, объята бредом,
Галлюцинацией, тоской,
Сомненьем, ревностью, тревогой...
И смерть над ними, как торгаш,
Поводит бронзовой острой.

Весы читают «Отче наш»,
Две гирьки, мирно встав на блюде,
Определяют жизни ход,
И дверь звенит, и рыбы бьются,
И жабры дышат наоборот.

1928

Обводный канал

В моем окне на весь квартал
Обводный царствует канал.

Ломовики, как падишахи,
Коня запутав медью блях,
Идут, закутаны в рубахи,
С нелепой важностью нерях.
Вокруг пивные встали в ряд,
Ломовики в пивных сидят.
И в окна конских морд толпа
Глядит, мотаясь у столба,
И в окна конских морд собор
Глядит, поставленный в упор.
А там за ним, за морд собором,
Течет толпа на полверсты,
Кричат слепцы блестящим хором,
Стальные вытянув персты.
Маклак штаны на воздух мечет,
Ладонью бьет, поет как кречет:
Маклак – владыка всех штанов,
Ему подвластен ход миров,
Ему подвластно толп движение,
Толпу томит штанов кружение,
И вот она, забывши честь,
Стоит, не в силах глаз отвести,
Вся прелесть и изнеможенье.

Кричи, маклак, свисти уродом,
Мечи штаны под облака!
Но перед сомкнутым народом

Иная движется река:
Один сапог несет на блюде,
Другой поет хвалу Иуде,
А третий, грозен и румян,
В кастрюлю бьет, как в барабан.
И нету сил держаться боле,
Толпа в плену, толпа в неволе,
Толпа лунатиком идет,
Ладони вытянув вперед.

А вокруг черны заводов замки,
Высок под облаком гудок.
И вот опять идут мустанги
На колоннаде пышных ног.
И воют жалобно телеги,
И плещет взорванная грязь,
И над каналом спят калеки,
К пустым бутылкам прислонясь.

1928

Бродячие музыканты

Закинув на спину трубу,
Как бремя золотое,
Он шел, в обиде на судьбу.
За ним бежали двое.
Один, сжимая скрипки тень,
Горбун и шаромыжка,
Скрипел и плакал целый день,
Как потная подмышка.
Другой, искусник и борец,
И чемпион гитары,
Огромный нес в руках крестец
С роскошной песнею Тамары.
На том крестце семь струн железных,
И семь валов, и семь колков,
Рукой построены полезной,
Болтались в виде уголков.

На стогнах солнце опускалось,
Неслись извозчики гурьбой,
Как бы фигуры пошехонцев
На волокнистых лошадях.
И вдруг в колодце между окон
Возник трубы волшебный локон,
Он прянул вверх тупым жерлом
И заревел. Глухим орлом

Был первый звук. Он, грохнув, пал.
За ним второй орел предстал,
Орлы в кукушек превращались,
Кукушки в точки уменьшались,
И точки, горло сжав в комок,
Упали в окна всех домов.
Тогда горбатик, скрипочку
Приплюснув подбородком,
Слепил перстом улыбочку
На личике коротком,
И, визгнув поперечиной
По маленьким струнам,
Заплакал, искалеченный:
– Тилим-там-там!

Система тронулась в порядке.
Качались знаки вымысла.
И каждый слушатель украдкой
Слезой чистой вымылся,
Когда на подоконниках
Средь музыки и грохота
Легла толпа поклонников
В подштанниках и кофтах.

Но богослов житейской страсти
И чемпион гитары
Подъял крестец, поправил части
И с песней нежною Тамары
Уста отважно растворил.
И все умолкло.
Звук самодержавный,
Глухой, как шум Куры,
Роскошный, как мечта,
Пронесся...
И в этой песне сделалась видна
Тамара на кавказском ложе.
Пред нею, полные вина,
Шипели кубки дотемна
И юноши стояли тоже.
И юноши стояли,
Махали руками,
И страстные дикие звуки
Всю ночь раздавались там...
– Тилим-там-там!

Певец был строен и суров.
Он пел, трудясь, среди дворов,
Средь выгребных высоких ям
Трудился он, могуч и прям.

Вокруг него система кошек,
Система окон, ведер, дров
Висела, темный мир размножив
На царства узкие дворов.
Но что был двор? Он был трубою,
Он был тоннелем в те края,
Где был и я гоним судьбою,
Где пропадала жизнь моя.
Где сквозь мансардное окошко
При лунном свете, вся дрожа,
В глаза мои смотрела кошка,
Как дух седьмого этажа.

1928

На лестницах

Коты на лестницах упругих,
Большие рыла приподняв,
Сидят, как будды, на перилах,
Ревут, как трубы, о любви.
Нагие кошечки, стесняясь,
Друг к дружке жмутся, извиняясь.
Кокетки! Сколько их кругом!
Они по кругу ходят боком,
Они текут любовным соком,

Они трясутся, на весь дом
Распространяя запах страсти.
Коты режут, открывши пасти, —
Они как дьяволы вверху
В своем серебряном меху.

Один лишь кот в глухой чужбине
Сидит, задумчив, не поет.
В его взъерошенной овчине
Справляют блохи хоровод.
Отшельник лестницы печальной,
Монах помойного ведра,
Он мир любви первоначальной
Напрасно ищет до утра.
Сквозь дверь он чувствует квартиру,
Где труд дневной едва лишь начат.
Там от плиты и до сортира
Лишь бабьи туловища скачут.
Там примус выстроен, как дыба,
На нем, от ужаса треща,
Чахоточная воеет рыба

В зеленых масляных прыщах.
Там трупы вымытых животных
Лежат на противнях холодных
И чугуны, купели слез,
Венчают зла апофеоз.

Кот поднимается, трепещет.
Сомненья нету: замкнут мир
И лишь одни помои плещут
Туда, где мудрости кумир.
И кот встает на две ноги,
Идет вперед, подъяв лапы.
Пропала лестница. Ни зги
В глазах. Шарахаются бабы,

Но поздно! Кот, на шею сев,
Как дьявол, бьется, озверев,
Рвет тело, жилы отворяет,
Когтями кости вынимает...
О, боже, боже, как нелеп!
Сбесился он или ослеп?

Шла ночь без горечи и страха,
И любопытным виден был
Семейный сад – кошачья плаха,
Где месяц медленный всходил.
Деревья дружные качали
Большими сжатыми телами,
Нагие птицы верещали,
Скача неверными ногами.
Над ними, желтый скаля зуб,
Висел кота холодный труп.

Монах! Ты висельником стал!
Прощай. В моем окошке,
Справляя дикий карнавал,
Опять несутся кошки.
И я на лестнице стою,
Такой же белый, важный.
Я продолжаю жизнь твою,
Мой праведник отважный.

1928

Купальщики

Кто, чернец, покинув печку,
Лезет в ванну или тазик —

Приходи купаться в речку,
Отступишь от безобразий!

Кто, кукушку в руку спрятав,
В воду падает с размаха —
Во главе плывет отряда,
Только дым идет из паха.

Все, впервые сняв одежды
И различные доспехи,
Начинают как невежды,
Но потом идут успехи.

Влага нежною гусыней
Щиплет части юных тел
И рукою водит синей,
Если кто-нибудь вспотел.

Если кто-нибудь не хочет
Оставаться долго мокрым —
Трет себя сухим платочком
Цвета воздуха и охры.

Если кто-нибудь томится
Страстью или искушеньем —
Может быстро охладиться,
Отдыхая без движенья.

Если кто любить не может,
Но изглодан весь тоскою,
Сам себе теперь поможет,
Тихо плавая с доскою.

О река, невеста, мамка,
Всех вместившая на лоне,
Ты не девка-полигамка,
Но святая на иконе!

Ты не девка-полигамка,
Но святая Парасковья,
Нас, купальщиков, встречай,
Где песок и молочай!

1928

Незрелость

Младенец кашку составляет

Из манных зерен голубых.
Зерно, как кубик, вылетает
Из легких пальчиков двойных.
Зерно к зерну – горшок наполнен
И вот, качаясь, он висит,
Как колокол на колокольне,
Квадратной силой знаменит.
Ребенок лезет вдоль по чащам,
Ореховые рвет листы,
И над деревьями все чаще
Его колеблются персты.
И девочки, носимы вместе,
К нему по воздуху плывут.
Одна из них, снимая крестик,
Тихонько падает в траву.

Горшок клубится под ногою,
Огня субстанция жива,
И девочка лежит нагою,
В огонь откинув кружева.
Ребенок тихо отвечает:
«Младенец я и не окреп!
Ужель твой ум не примечает,
Насколь твой замысел нелеп?

Красот твоих мне стыден вид,
Закрой же ножки белой тканью,
Смотри, как мой костер горит,
И не готовься к поруганью!»
И тихо взяв мешалку в руки,
Он мудро кашу помешал, —
Так он урок живой науки
Душе несчастной преподавал.

1928

Народный Дом

Народный Дом, курятник радости,
Амбар волшебного житья,
Корыто праздничное страсти,
Густое пекло бытия!
Тут шишаки красноармейские,
А с ними дамочки житейские
Неслись задумчивым ручьем.
Им шум столичный нипочем!
Тут радость пальчиком водила,
Она к народу шла потехою.

Тут каждый мальчик забавлялся:
Кто дамочку кормил орехами,
А кто над пивом забывался.
Тут гор американские хребты!
Над ними девочки, богини красоты,
В повозки быстрые запрятались,
Повозки катятся вперед,
Красотки нежные расплакались,
Упав совсем на кавалеров...
И много было тут других примеров.

Тут девка водит на аркане
Свою пречистую собачку,
Сама вспотела вся до нитки
И грудки выехали вверх.
А та собачка пречестная,
Весенним соком налитая,
Грибными ножками неловко
Вдоль по дорожке шелестит.

Подходит к девке именитой
Мужик роскошный, апельсинщик.
Он держит тазик разноцветный,
В нем апельсины аккуратные лежат.
Как будто циркулем очерченные круги,
Они волнисты и упруги;
Как будто маленькие солнышки, они
Легко катаются по жести
И пальчикам лепечут: «Лезьте, лезьте!»

И девка, кушая плоды,
Благодарит рублем прохожего.
Она зовет его на «ты»,
Но ей другого хочется, хорошего.
Она хорошего глазами ищет,
Но перед ней качели свищут.

В качелях девочка-душа
Висела, ножкою шурша.
Она по воздуху летела,
И теплой ножкою вертела,
И теплой ручкою звала.

Другой же, видя преломленное
Свое лицо в горбатом зеркале,
Стоял молодчиком оплеванным,
Хотел смеяться, но не мог.
Желая знать причину искривления
Он как бы делался ребенком

И шел назад на четвереньках,
Под сорок лет – четвероног.

Но перед этим праздничным угаром
Иные будто спасовали:
Они довольны не амбаром радости,
Они тут в молодости побывали.
И вот теперь, шепча с бутылкою,
Прощаясь с молодостью пылкою,
Они скребут стакан зубами,
Они губой его высасывают,
Они приятелям рассказывают
Свои веселия шальные.
Ведь им бутылка словно матушка,
Души медовая салопница,
Целует слаще всякой девки,
А холодит сильнее Невки.

Они глядят в стекло.
В стекле восходит утро.
Фонарь, бескровный, как глиста,
Стрелой болтается в кустах.
И по трамваям рай качается —
Тут каждый мальчик улыбается,
А девочка наоборот —
Закрыв глаза, открыла рот
И ручку выбросила теплую
На приподнявшийся живот.

Трамвай, шатаясь, чуть идет.

1928

Самовар

Самовар, владыка брюха,
Драгоценный комнат поп!
В твоей грудке вижу ухо,
В твоей ножке вижу лоб.

Император белых чашек,
Чайников архимандрит,
Твой глубокий ропот тяжек
Тем, кто миру зло дарит.

Я же – дева неповинна,
Как нетронутый цветок.
Льется в чашку длинный-длинный,

Тонкий, стройный кипяток.

И вся комнатка-малютка
Расцветает вдалеке,
Словно цветик-незабудка
На высоком стебельке.

1930

На даче

Вижу около постройки
Древо радости – орех.
Дым, подобно белой тройке,
Скачет в облако наверх.
Вижу дачи деревянной
Деревенские столбы.
Белый, серый, оловянный
Дым выходит из трубы,
Вижу – ты, по воле мужа
С животом, подобным тазу,
Ходишь, зла и неуклюжа,
И подходишь к тарантасу.
В тарантасе тройка алых
Чернокудрых лошадей.
Рядом дядя на цимбалах
Тешит праздничных людей.
Гей, ямщик! С тобою мама
Да в селе высокий доктор.
Полетела тройка прямо
По дороге очень мокрой.
Мама стонет, дядя гонит,
Дядя давит лошадей,
И младенец, плача, тонет
Посреди больших кровей.

Пуповину отгрызала
Мама зубом золотым.
Тройка бешеная стала,
Коренник упал. Как дым,
Словно дым, клубилась степь,
Ночь сидела на холме.
Дядя ел чугунный хлеб,
Развалившись на траве.
А в далекой даче дети
Пели, бегая в крокете,
И ликуя и шутя,
Легким шариком вертя.

И цыганка молодая,
Встав над ними, как божок,
Предлагала, завывая,
Ассирийский пирожок.

1929

Начало осени

Старухи, сидя у ворот,
Хлебали щи тумана, гари.
Тут, торопяся на завод,
Шел переулком пролетарий.
Не быв задетым центром О,
Он шел, скрепив периферию,
И ветер ломался вокруг него.
Приходит соболь из Сибири,
И представляет яблок Крым,
И девка, взяв рубля четыре,
Ест плод, любуясь молодым.
В его глазах – начатки знанья,
Они потом уходят в руки,
В его мозгу на состязанье
Сошлись концами все науки.
Как сон житейских геометрий,
В необычайно крепком ветре
Над ним домов бряцали оси,
И в центре О мерцала осень.
И к ней касаясь хордой, что ли,
Качался клен, крича от боли,
Качался клен, и выстрелом ума
Казалась нам вселенная сама.

1928

Цирк

Цирк сияет, словно щит,
Цирк на пальцах верещит,
Цирк на дудке завывает,
Душу в душу ударяет

С нежным личиком испанки
И цветами в волосах
Тут девочка, пресветлый ангел,
Виясь, плясала вальс-казак.
Она среди густого пара

Стоит, как белая гагара,
То с гитарой у плеча
Реет, ноги волоча.
То вдруг присвистнет, одинокая,
Совьется маленьким ужом,
И вновь несется, нежно охая, —
Прелестный образ и почти что нагишом!
Но вот одежды беспокойство
Вкруг тела складками легло.
Хотя напрасно!
Членов нежное устройство
На всех впечатление произвело.

Толпа встает. Все дышат, как сапожники,
Во рту слюны навар кудрявый.
Иные, даже самые безбожники,
Полны таинственной отравой.
Другие же, суя табак в пустую трубку,
Облизываясь, мысленно целуют ту голубку,
Которая пред ними пролетела.
Пресветлая! Остаться не захотела!

Вой всюду в зале тут стоит,
Кромешным духом все полны.
Но музыка опять гремит,
И все опять удивлены.
Лошадь белая выходит,
Бледным личиком вертя,
И на ней при всем народе

Сидит полновесное дитя.
Вот, маша руками враз,
Дитя, смеясь, сидит анфас,
И вдруг, взмахнув ноги обмылком,
Дитя сидит к коню затылком.
А конь, как стражник, опутив
Высокий лоб с большим пером,
По кругу носится, спесив,
Поставив ноги под углом.

Тут опять всеобщее изумленье,
И похвала, и одобренье,
И, как зверок, кусает зависть
Тех, кто недавно улыбались
Иль равнодушными казались.

Мальчишка, тихо хулиганя,
Подружке на ухо шептал:
«Какая тут сегодня баня!»

И девку нежно обнимал.
Она же, к этому привыкнув,
Сидела тихая, не пикнув:
Закон имея естества,
Она желала сватовства.

Но вот опять арена скачет,
Ход представленья снова начат.
Два тоненькие мужика
Стоят, сгибаясь, у шеста.
Один, ладони поднимая,
На воздух медленно ползет,
То красный шарик выпускает,
То вниз, нарядный, упадет
И товарищу на плечи
Тонкой ножкою встает.
Потом они, смеясь опасно,
Ползут наверх единоголосно
И там, обнявшись наугад,
На толстом воздухе стоят.
Они дыханьем укрепляют
Двойного тела равновесье,
Но через миг опять летают,
Себя по воздуху развеса.

Тут опять, восторга полон,
Зал трясется, как кликуша,
И стучит ногами в пол он,
Не щадя чужие уши.
Один старик интеллигентный
Сказал, другому говоря:
«Этот праздник разноцветный
Посещаю я не зря.
Здесь нахожу я греческие игры,
Красоток розовые икры,
Научных замечаю лошадей, —
Это не цирк, а прямо чародей!»
Другой, плешивый, как колено,
Сказал, что это несомненно.

На последний страшный номер
Вышла женщина-змея.
Она усердно ползала в соломе,
Ноги в кольца завия.
Проползав несколько минут,
Она совсем лишилась тела.
Кругом служители бегут:
— Где? Где?
Красотка улетела!

Тут пошел в народе ужас,
Все свои хватают шапки
И бросаются наружу,
Имея девок полные охапки.
«Воры! Воры!» – все кричали.
Но воры были невидимки:
Они в тот вечер угощали
Своих друзей на Ситном рынке.
Над ними небо было рыто
Веселой руганью двойной,
И жизнь трещала, как корыто,
Летая книзу головой.

1928

Смешанные столбцы

Лицо коня

Животные не спят. Они во тьме ночной
Стоят над миром каменной стеной.

Рогами гладкими шумит в соломе
Покатая коровы голова.
Раздвинув скулы вековые,
Ее притиснул каменистый лоб,
И вот косноязычные глаза
С трудом вращаются по кругу.

Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
И в ветхой роще рокот соловьиный.

И зная всё, кому расскажет он
Свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На темный небосклон
Восходят звезд соединенья.
И конь стоит, как рыцарь на часах,
Играет ветер в легких волосах,
Глаза горят, как два огромных мира,
И грива стелется, как царская порфира.

И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой
И отдал бы коню. Поистине достоин
Иметь язык волшебный конь!

Мы услышали бы слова.
Слова большие, словно яблоки. Густые,
Как мед или крутое молоко.
Слова, которые вонзаются, как пламя,
И, в душу залетев, как в хижину огонь,
Убогое убранство освещают.
Слова, которые не умирают
И о которых песни мы поем.

Но вот конюшня опустела,
Деревья тоже разошлись,
Скупое утро горы спеленало,

Поля открыло для работ.
И лошадь в клетке из оглобель,
Повозку крытую влача,
Глядит покорными глазами
В таинственный и неподвижный мир.

1926

В жилищах наших

В жилищах наших
Мы тут живем умно и некрасиво.
Справляя жизнь, рождаясь от людей,
Мы забываем о деревьях.

Они поистине металла тяжелей
В зеленом блеске сомкнутых кудрей.

Иные, кроны поднимая к небесам,
Как бы в короны спрятали глаза,
И детских рук изломанная прелесть,
Одетая в кисейные листы,
Еще плодов удобных не наелась
И держит звонкие плоды.

Так сквозь века, селенья и сады
Мерцают нам удобные плоды.

Нам непонятна эта красота —
Деревьев влажное дыханье.
Вон дровосеки, позабыв топор,
Стоят и смотрят, тихи, молчаливы.
Кто знает, что подумали они,
Что вспомнили и что открыли,
Зачем, прижав к холодному стволу
Свое лицо, неудержимо плачут?
Вот мы нашли поляну молодую,
Мы встали в разные углы,
Мы стали тоньше. Головы растут,
И небо приближается навстречу.
Затвердевают мягкие тела,
Блаженно дервенеют вены,
И ног проросших больше не поднять,
Не опустить раскинутые руки.
Глаза закрылись, времена отпали,
И солнце ласково коснулось головы.

В ногах проходят влажные валы.

Уж влага поднимается, струится
И омывает лиственные лица:
Земля ласкает детище свое.
А вдалеке над городом дымится
Густое фонарей копьё.

Был город осликом, четырехстенным домом.
На двух колесах из камней
Он ехал в горизонте плотном,
Сухие трубы накренья.
Был светлый день. Пустые облака,
Как пузыри морщинистые, вылетали.
Шел ветер, огибая лес.
И мы стояли, тонкие деревья,
В бесцветной пустоте небес.

1926

Прогулка

У животных нет названья.
Кто им зваться повелел?
Равномерное страданье —
Их невидимый удел.
Бык, беседуя с природой,
Удаляется в луга.
Над прекрасными глазами
Светят белые рога.
Речка девочкой невзрачной
Притаилась между трав,
То смеется, то рыдает,
Ноги в землю закопав.
Что же плачет? Что тоскует?
Отчего она больна?
Вся природа улыбнулась,
Как высокая тюрьма.
Каждый маленький цветочек
Машет маленькой рукой.
Бык седые слезы точит,
Ходит пышный, чуть живой.

А на воздухе пустынном
Птица легкая кружится,
Ради песенки старинной
Нежным горлышком трудится.
Перед ней сияют воды,
Лес качается, велик,
И смеется вся природа,

Умирая каждый миг.

1929

Змеи

Лес качается, прохладен,
Тут же разные цветы,
И тела блестящих гадин
Меж камнями завиты.
Солнце жаркое, простое,
Льет на них свое тепло.
Меж камней тела устроая,
Змеи гладки, как стекло.
Прошумит ли сверху птица
Или жук провоняет смело,
Змеи спят, запрятав лица
В складках жареного тела.
И загадочны и бедны,
Спят они, открывши рот,
А вверху едва заметно
Время в воздухе плывет.
Год проходит, два проходит,
Три проходит. Наконец,
Человек тела находит —
Сна тяжелый образец.
Для чего они? Откуда?
Оправдать ли их умом?
Но прекрасных тварей грома
Спит, разбросана кругом.
И уйдет мудрец, задумчив,
И живет, как нелюдим,
И природа, вмиг наскучив,
Как тюрьма стоит над ним.

1929

Искушение

Смерть приходит к человеку,
Говорит ему: «Хозяин,
Ты походишь на калеку,
Насекомыми кусаем.
Брось жите, иди за мною,
У меня во гробе тихо.
Белым саваном укрою
Всех от мала до велика

Не грусти, что будет яма,
Что с тобой умрет наука:
Поле выпашется са́мо,
Рожь поднимется без плуга.
Солнце в полдень будет жгучим,
Ближе к вечеру прохладным,
Ты же, опытом научен,
Будешь белым и могучим
С медным крестиком квадратным
Спать во гробе аккуратном».

«Смерть, хозяина не трогай, —
Отвечает ей мужик. —
Ради старости убогой
Пощади меня на миг.
Дай мне малую отсрочку,
Отпусти меня. А там
Я единственную дочку
За труды тебе отдам».

Смерть не плачет, не смеется,
В руки девицу берет
И, как полымя, несется,
И трава под нею гнется
От избушки до ворот.
Холмик ву поле стоит,
Дева в холмике шумит:
«Тяжело лежать во гробе,
Почернели ручки обе,
Стали волосы как пыль,
Из груди растёт ковыль.
Тяжело лежать в могиле,
Губки тоненькие сгнили,
Вместо глазок — два кружка,
Нету милого дружка!»

Смерть над холмиком летает
И хохочет и грустит,
Из ружья в него стреляет
И склоняясь говорит:
«Ну, малютка, полно врать,
Полно глотку в гробе драть!
Мир над миром существует,
Вылезай из гроба прочь!
Слышишь, ветер в поле дует,
Наступает снова ночь.
Караваны сонных звезд
Пролетели, пронеслись.
Кончен твой подземный пост,

Ну, попробуй, поднимись!»

Дева ручками взмахнула,
Не поверила ушам,
Доску вышибла, вспрыгнула,
Хлоп! И лопнула по швам.

И течет, течет бедняжка
В виде маленьких кишок.
Где была ее рубашка,
Там остался порошок.
Изо всех отверстий тела
Червяки глядят несмело,
Вроде маленьких малют
Жидкость розовую пьют.

Была дева – стали щи.
Смех, не смейся, подожди!
Солнце встанет, глина треснет,
Мигом девица воскреснет.
Из берцовой из кости
Будет деревце расти,
Будет деревце шуметь,
Про девицу песни петь,
Про девицу песни петь,
Сладким голосом звенеть:
«Баю, баюшки, баю,
Баю девочку мою!
Ветер в поле улетел,
Месяц в небе побелел.
Мужики по избам спят,
У них много есть котят.
А у каждого кота
Были красны ворота,
Шубки синеньки у них,
Все в сапожках золотых,
Все в сапожках золотых,
Очень, очень дорогих...»

1929

Меркнут знаки Зодиака

Меркнут знаки Зодиака
Над просторами полей.
Спит животное Собака,
Дремлет птица Воробей.
Толстозадые русалки

Улетают прямо в небо,
Руки крепкие, как палки,
Груды круглые, как репа.
Ведьма, сев на треугольник,
Превращается в дымок.
С лешачихами покойник
Стройно пляшет кекуок.
Вслед за ними бледным хором
Ловят Муху колдуны,
И стоит над косогором
Неподвижный лик луны.

Меркнут знаки Зодиака
Над постройками села,
Спит животное Собака,
Дремлет рыба Камбала.
Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.

Над землей большая плошка
Опрокинутой воды.
Леший вытащил бревешко
Из мохнатой бороды.
Из-за облака сирена
Ножку выставила вниз,
Людоед у джентльмена
Неприличное отгрыз.
Всё смешалось в общем танце,
И летят во все концы
Гамадрилы и британцы,
Ведьмы, блохи, мертвецы.

Кандидат былых столетий,
Полководец новых лет,
Разум мой! Уродцы эти —
Только вымысел и бред.
Только вымысел, мечтанье,
Сонной мысли колыханье,
Безутешное страданье, —
То, чего на свете нет.

Высока земли обитель.
Поздно, поздно. Спать пора!
Разум, бедный мой воитель,
Ты заснул бы до утра.
Что сомненья? Что тревоги?
День прошел, и мы с тобой —

Полузвери, полубоги —
Засыпаем на пороге
Новой жизни молодой.

Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
Опрокинутой воды.
Спит растение Картошка.
Засыпай скорей и ты!

1929

Искусство

Дерево растет, напоминая
Естественную деревянную колонну.
От нее расходятся члены,
Одетые в круглые листья.
Собрание таких деревьев
Образует лес, дубраву.
Но определение леса неточно,
Если указать на одно формальное строенье.

Толстое тело коровы,
Поставленное на четыре окончания,
Увенчанное храмовидной головою
И двумя рогами (словно луна в первой четверти),
Тоже будет непонятно,
Также будет непостижимо,
Если забудем о его значенье
На карте живущих всего мира.

Дом, деревянная постройка,
Составленная как кладбище деревьев,
Сложенная как шалаш из трупов,
Словно беседка из мертвецов, —
Кому он из смертных понятен,
Кому из живущих доступен,

Если забудем человека,
Кто строил его и рубил?

Человек, владыка планеты,
Государь деревянного леса,
Император коровьего мяса,

Саваоф двухэтажного дома, —
Он и планетою правит,
Он и леса вырубает,
Он и корову зарежет,
А вымолвить слова не может.

Но я, однообразный человек,
Взял в рот длинную сияющую дудку,
Дул, и, подчиненные дыханию,
Слова вылетали в мир, становясь
предметами.

Корова мне кашу варила,
Дерево сказку читало,
А мертвые домики мира
Прыгали, словно живые.

1930

Вопросы к морю

Хочу у моря я спросить,
Для чего оно кипит?
Пук травы зачем висит,
Между волн его сокрыт?
Это множество воды
Очень дух смущает мой.
Лучше б выросли сады
Там, где слышен моря вой.

Лучше б тут стояли хаты
И полезные растенья,
Звери бегали рогаты
Для крестьян увеселенья.
Лучше бы руду копать
Там, где моря видим гладь,
Сани делать, башни строить
Волка пулей беспокоить,
Разводить медикаменты,
Кукурузу молотить,
Деве розовые ленты
В виде опыта дарить.
В хороводе бы скакать,
Змея под вечер пускать
И дневные впечатленья
В свою книжечку писать.

1930

Время

1

Ираклий, Тихон, Лев, Фома
Сидели важно вокруг стола.
Над ними дедовский фонарь
Висел, роняя свет на пир.
Фонарь был пышный и старинный,
Но в виде женщины чугунной.
Та женщина висела на цепях,
Ей в спину наливали масло,
Дабы лампада не погасла
И не остаться всем впотьмах.

2

Благообразная вокруг
Сияла комната для пира.
У стен – с провизией сундук,
Там – изображение кумира
Из дорогого алебастра.
В горшке цвела большая астра.
И несколько стульев прекрасных
Вокруг стояли стен однообразных.

3

Так в этой комнате жилой
Сидело четверо пирующих гостей.
Иногда они вскакивали,
Хватались за ножки своих бокалов
И пронзительно кричали: «Виват!»
Светила лампа в двести ватт.
Ираклий был лесной солдат,
Имел ружья огромную тетерю,
В тетере был большой курок.
Нажав его перстом, я верю,
Животных бить возможно впрок.

4

Ираклий говорил, изображая
Собой могучую фигуру:
«Я женщин с детства обожаю.
Они представляют собой роскошную клавиатуру,
Из которой можно извлекать аккорды».
Со стен смотрели морды
Животных, убитых во время перестрелки.
Часы двигали свои стрелки.
И не сдержав разбег ума,
Сказал задумчивый Фома:
«Да, женщины значение огромно,
Я в том согласен безусловно,
Но мысль о времени сильнее женщин. Да!
Споем песенку о времени, которую мы поем всегда».

5

Песенка о времени

Легкий ток из чаши А
Тихо льется в чашу Бе,
Вяжет дева кружева,
Пляшут звезды на трубе.

Поворачивая ввысь
Андромеду и Коня,
Над землею поднялись
Кучи звездного огня.

Год за годом, день за днем
Звездным мы горим огнем,
Плачем мы, созвездий дети,
Тянем руки к Андромеде

И уходим навсегда,
Увидавши, как в трубе
Легкий ток из чаши А
Тихо льется в чашу Бе.

6

Тогда ударил вновь бокал,
И разом все «Виват!» вскричали,

И им в ответ, устроив бал,
Часы пять криков прокричали.

Как будто маленький собор,
Висящий крепко на гвозде,
Часы кричали с давних пор,
Как надо двигаться звезде.
Бездонный времени сундук,
Часы – творенье адских рук!
И всё это прекрасно понимая,
Сказал Фома, родиться мысли помогая:
«Я предложил бы истребить часы!»
И закрутив усы,
Он посмотрел на всех спокойным глазом.
Блестела женщина своим чугунным тазом.

7

А если бы они взглянули за окно,
Они б увидели великое пятно
Вечернего светила.
Растенья там росли, как дудки,
Цветы качались выше плеч,
И в каждой травке, как в желудке,
Возможно свету было течь.
Мясных растений городок
Пересекал воды поток.
И, обнаженные, слагались
В ладошки длинные листы,
И жилы нижние купались
Среди химической воды.

8

И с отвращеньем посмотрев в окошко,
Сказал Фома: «Ни клюква, ни морошка,
Ни жук, ни мельница, ни пташка,

Ни женщины большая ляжка
Меня не радуют. Имейте все в виду:
Часы стучат, и я сейчас уйду».

9

Тогда встает безмолвный Лев,
Ружье берет, остервенев,
Влагает в дуло два заряда,
Всыпает порох роковой
И в середину циферблата
Стреляет крепкою рукой.
И все в дыму стоят, как боги,
И шепчут, грозные: «Виват!»
И женщины железной ноги
Горят над ними в двести ватт.
И все растенья припадают
К стеклу, похожему на клей,
И с удивленьем наблюдают
Могилу разума людей.

1933

Испытание воли

Агафонов

Прошу садиться, выпить чаю.
У нас варенья полон чан.

Корнеев

Среди посуды я различаю
Прекрасный чайник англичан.

Агафонов

Твой глаз, Корнеев, наострился,
Ты видишь Англии фарфор.
Он в нашей келье появился
Еще совсем с недавних пор.
Мне подарил его мой друг,
Открыв с посудой сундук.

Корнеев

Невероятна речь твоя,
Приятель сердца Агафонов!
Ужель могу поверить я:
Предмет, достойный Пантеонов,
Роскошный Англии призрак,
Который видом тешит зрак,
Жжет душу, разум просветляет,
Больных к художеству склоняет,
Засохшим сердце веселит,

А сам сияет и горит, —
Ужель такой предмет высокий,
Достойный лучшего венца,
Отныне в хижине убогой
Травой лечит мудреца?

Агафонов

Да, это правда.

Корнеев

Боже правый!
Предмет, достойный лучших мест,
Стоит, наполненный отравой,
Где Агафонов кашу ест!
Подумай только: среди ручек,
Которы тонки, как зефир,
Он мог бы жить в условиях лучших
И почитаться как кумир.
Властитель Англии туманной,
Его поставивши в углу,
Сидел бы весь благоуханный,
Шепча посуде похвалу.
Наследник пышною особой
При нем ходил бы, сняв сапог,
И в виде милости особой
Едва за носик трогать мог.
И вдруг такие небылицы!
В простую хижину упав,
Сей чайник носит нам водицы,
Хотя не князь ты и не граф.

Агафонов

Среди различных лицедеев
Я слышал множество похвал,
Но от тебя, мой друг Корнеев,
Таких речей не ожидал.
Ты судишь, право, как лунатик,
Ты весь от страсти изнемог,
И жила вздулась, как канатик,
Обезобразив твой висок.
Ужели чайник есть причина?
Возьми его! На что он мне!

Корнеев

Благодарю тебя, мужчина.

Теперь спокоен я вполне.
Прощай. Я весь еще рыдаю.

(Уходит)

Агафонов

Я духом в воздухе летаю,
Я телом в келейке лежу
И чайник снова в келью приглашу.

Корнеев
(входит)

Возьми обратно этот чайник,
Он ненавистен мне навек:
Я был премудрости начальник,
А стал пропащий человек.

Агафонов
(обнимая его)

Хвала тебе, мой друг Корнеев,
Ты чайник духом победил.
Итак, бери его скорее:
Я дарю тебе его изо всех сил.

1931

Поэма дождя

Волк

Змея почтенная лесная,
Зачем ползешь, сама не зная,
Куда идти, зачем спешить?
Ужель спеша возможно жить?

Змея

Премудрый волк, уму непостижим
Тот мир, который неподвижен.
И так же просто мы бежим,
Как вылетает дым из хижин.

Волк

Понять не трудно твой ответ.
Куда как слаб рассудок змея!

Ты от себя бежишь, мой свет,
В движенье правду разумея.

Змея

Я вижу, ты идеалист.

Волк

Гляди: спадает с древа лист.
Кукушка, песенку построя
На двух тонах (дитя простое!),
Поет внутри высоких рощ.
При солнце льется ясный дождь,
Течет вода две-три минуты,
Крестьяне бегают разуты,
Потом опять сияет свет,
Дождь миновал, и капель нет.
Открой мне смысл картины этой.

Змея

Иди, с волками побеседуй,
Они дадут тебе отчет,
Зачем вода с небес течет.

Волк

Отлично. Я пойду к волкам.
Течет вода по их бокам.
Вода, как матушка, поет,
Когда на нас тихонько льет.
Природа в стройном сарафане,
Главою в солнце упершись,
Весь день играет на органе.
Мы называем это: жизнь.
Мы называем это: дождь,
По лужам шлепанье малюток,
И шум лесов, и пляски рощ,
И в роще хохот незабудок.
Или, когда угрюм орган,
На небе слышен барабан,
И войско туч пудов на двести
Лежитверху на каждом месте,
Когда могучих вод поток
Сшибает с ног лесного зверя, —
Самим себе еще не веря,
Мы называем это: Бог.

1931

Отдых

Вот на площади квадратной
Маслодельня, белый дом!
Бык гуляет аккуратный,
Чуть качая животом.
Дремлет кот на белом стуле,
Под окошком вьются гули,
Бродит тетя Мариули,
Звонко хлопая ведром.

Сепаратор, бог чухонский,
Масла розовый король!
Украти свой топот конский,
Полюбить тебя позволь.
Дай мне два кувшина сливок,
Дай сметаны полведра,
Чтобы пел я возле ивок
Вплоть до самого утра!

Маслодельни легкий стук,
Масла маленький сундук,
Что стучишь ты возле пашен,
Там, где бык гуляет, важен,
Что играешь возле ив,
Стенку набок наклонив?

Спой мне, тетя Мариули,
Песню легкую, как сон!
Все животные заснули,
Месяц в небо унесен.
Безобразный, конопатый,
Словно толстый херувим,
Дремлет дядя Волохатый
Перед домиком твоим.
Всё спокойно. Вечер с нами!
Лишь на улице глухой
Слышу: бьется под ногами
Заглушенный голос мой.

1930

Птицы

Колыхаясь еле-еле

Всем ветрам наперерез,
Птицы легкие висели,
Как лампы средь небес.

Их глаза, как телескопики,
Смотрели прямо вниз.
Люди ползали, как клопики,
Источники вились.

Мышь бежала возле пашен,
Птица падала на мышь.
Трупик, вмиг обезображен,
Убираем был в камыш.

В камышах сидела птица,
Мышку пальцами рвала,
Изо рта ее водица
Струйкой на землю текла.

И сдвигая телескопики
Своих потухших глаз,
Птица думала. На холмике
Катился тарантас.

Тарантас бежал по полю,
В тарантасе я сидел
И своих несчастий долю
Тоже на сердце имел.

1933

Человек в воде

Формы тела и ума
Кто рубил и кто ковал?
Там, где море-каурма,
Словно идол, ходит вал.

Словно череп, безволос,
Как червяк подземный, бел,
Человек, расправив хвост,
Перед волнами сидел.

Разворачивая ладони,
Словно белые блины,
Он качался на попоне
Всем хребтом своей спины.

Каждый маленький сустав
Был распарен и раздут.
Море телом исхлестав,
Человек купался тут.

Море телом просверлив,
Человек нырял на дно.
Словно идол, шел прилив,
Заслоняя дна пятно.

Человек, как гусь, как рак,
Носом радостно трубя,
Покидая дна овраг,
Шел, бородку теребя.

Он размахивал хвостом,
Он притоптывал ногой
И кружился колесом,
Безволосый и нагой.

А на жареной спине,
Над безумцем хохоча,
Инфузории одне
Ели кожу лихача.

1930

Звезды, розы и квадраты

Звезды, розы и квадраты,
Стрелы северного сиянья,
Тонки, круглы, полосаты,
Осеньяли наши зданья.
Осеньяли наши дома
Жезлы, кубки и колеса.
В чердаках визжали кошки,
Грохотали телескопы.
Но машина круглым глазом
В небе бегала напрасно:
Все квадраты улетаели,
Исчезали жезлы, кубки.
Только маленькая птичка
Между солнцем и луною
В дырке облака сидела,
Во все горло песню пела:
«Вы не вейтесь, звезды, розы,
Улетайте, жезлы, кубки, —
Между солнцем и луною

Бродит утро за горами!»

1930

Царица мух

Бьет крылом седой петух,
Ночь повсюду наступает.
Как звезда, царица мух
Над болотом пролетает.
Бьется крылышком отвесным
Остов тела, обнажен,
На груди пентакль чудесный
Весь в лучах изображен.
На груди пентакль печальный
Между двух прозрачных крыл,
Словно знак первоначальный
Неразгаданных могил.

Есть в болоте странный мох,
Тонок, розов, многоног,
Весь прозрачный, чуть живой,
Презираемый травой.
Сирота, чудесный житель
Удаленных бедных мест,

Это он сулит обитель
Мухе, реющей окрест.
Муха, вся стуча крылами,
Мускул грудки развернув,
Опускается кругами
На болота влажный туф.

Если ты, мечтой томим,
Знаешь слово Элоим,
Муху странную бери,
Муху в банку посади,
С банкой по полю ходи,
За приметами следи.
Если муха чуть шумит —
Под ногою медь лежит.
Если усиком ведет —
К серебру тебя зовет.
Если хлопает крылом —
Под ногами злата ком.

Тихо-тихо ночь ступает,
Слышен запах тополей.

Меркнет дух мой, замирает
Между сосен и полей.
Спят печальные болота,
Шевелятся корни трав.
На кладбище стонет кто-то,
Телом к холмику припав.
Кто-то стонет, кто-то плачет,
Льются звезды с высоты.
Вот уж мох вдали маячит.
Муха, муха, где же ты?

1930

Предостережение

Где древней музыки фигуры,
Где с мертвым бой клавиатуры,
Где битва нот с безмолвием пространства —
Там не ищи, поэт, душе своей убранства.

Соединив безумие с умом,
Среди пустынных смыслов мы построим дом —
Училище миров, неведомых доселе.
Поэзия есть мысль, устроенная в теле.

Она течет незримая, в воде —
Мы воду воспоем усердными трудами.
Она горит в полуночной звезде —
Звезда, как полымя, бушует перед нами.

Тревожный сон коров и беглый разум птиц
Пусть смотрят из твоих диковинных страниц,
Деревья пусть поют и страшным разговором
Пугает бык людей, тот самый бык, в котором
Заключено безмолвие миров,
Соединенных с нами крепкой связью.

Побит камнями и закидан грязью,
Будь терпелив. И помни каждый миг:
Коль музыки коснешься чутким ухом,
Разрушится твой дом и, ревностный к наукам,
Над нами посмеется ученик.

1932

Подводный город

Птицы плавают над морем.
Славен город Посейдон!
Мы машиной воду роём.
Славен город Посейдон!
На трубе Чимальпопока
Мы играем в окна мира:
Под волнами спит глубоко
Башен стройная порфира.
В страшном блеске орихалка
Город солнца и числа
Спит, и буря, как весталка, —
Буря волны принесла.

Море! Море! Морда гроба!
Вечной гибели закон!
Где легла твоя утроба,
Умер город Посейдон.
Чуден вид его и страшен:
Рыбой съедены до пят,
Из больших окошек башен
Люди длинные глядят.

Человек, носим волною,
Едет книзу головою.
Осьминог сосет ребенка,
Только влас висит коронка.
Рыба, пухлая, как мох,
Вкруг колонны ловит блох.
И над круглыми домами,
Над фигурами из бронзы,
Над могилами науки,
Пирамидами владыки —
Только море, только сон,
Только неба синий тон.

1930

Школа Жуков

Женщины

Мы, женщины, повелительницы котлов,
Изобретательницы каш,
Толкачихи мира вперед, —
Дни и ночи, дни и ночи,
Полные любовного трудолюбия,
Рождаем миру толстых красных младенцев.
Как корабли, уходящие в дальнее плавание,
Младенцы имеют полную оснастку органов:

Это теперь пригодится, это – потом.
Горы живого сложного мяса
Мы кладем на руки человечества.
Вы, плотники, ученые леса,
Вы, каменщики, строители хижин,
Вы, живописцы, покрывающие стены
Загадочными фигурками нашей истории,
Откройте младенцам глаза,
Развяжите уши
И толкните неопытный разум
На первые подвиги.

Плотники

Мы, плотники, ученые леса,
Математики жизни деревьев,
Построим младенцам огромные колыбели
На крепких дубовых ногах.
Великие мореходы
Получат кровати из клена:
Строенье кленовых волокон
Подобно морскому прибору.
Ткачам, инженерам одежды,
Прилична кровать из чинара:
Чинар – это дерево-ткач,
Плетущий себя самого.
Ясень,
На котором продолговатые облака,
Будет учителем в небо полетов.
Черные полосы лиственниц
Научат строительству рельсов.
Груша и липа —
Наставницы маленьких девочек.
Дерево моа похоже на мед —
Пчеловодов учитель.
Туя, крупы властелинша, —
Урок земледельцу.
Бурый орех как земля —
Землекопу помощник.
Учит камень тесать
И дома возводить – палисандра.
Черное дерево – это металла двойник,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.